

Р.Г. Назиров
Уфимские рассказы
(Бельские просторы. 2011. № 4)

Проработавший почти сорок лет в Башкирском государственном университете профессор Ромэн Гафанович Назиров (1934–2004) был выдающимся литературоведом, автором не потерявшей актуальности до сего дня монографии «Творческие принципы Ф. М. Достоевского», нескольких десятков статей по истории фольклорных мотивов и разным аспектам поэтики русской литературы XIX века.

Таким его знали специалисты и сослуживцы, студенты и аспиранты. Замыслы его были значительно масштабнее сделанного, это становится понятно только сейчас, когда стал доступен для разбора архив учёного, где обнаруживаются невышедшие статьи, неопубликованные монографии и учебники, составленные Р. Г. Назировым словари и энциклопедии.

Вся эта грандиозная научная работа, подлинная духовная жизнь профессора Назирова, не была доступна никому – ни коллеги, ни ученики, ни родственники не знали ни об уже написанных книгах, ни о других трудах. Но была ещё одна грань личности Р. Г. Назирова, о которой никто не только не знал, но и не догадывался. Он был писателем.

Вопреки расхожему мнению для литературоведа это качество не обязательное и даже по-своему противоестественное. Шкловский в своё время утверждал, что «каждый порядочный литературовед должен, в случае надобности, уметь написать роман. Пускай плохой, но технически грамотный»^[1]. Да. Но если не плохой, а хороший, гениальный, блестящий? Литературоведческая подготовка не даёт для этого ключей, а, напротив, создаёт сложности иного рода: образованный литературовед, который удерживает в памяти великие образцы литературы прошлого, как никто другой видит и понимает, насколько трудно создать что-то равновеликое. Точное попадание в это чувство случилось у Б. Пастернака:

*Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.*

Тем не менее Р. Г. Назиров писал прозу. Писал, судя по всему, мучительно, многократно переписывая и переделывая начатое. Остро психологически читаются его «внутренние» комментарии к творческому

процессу, в которых писатель общается сам с собой, можно сказать, пишет себе личные письма, даёт советы, переходя иногда при этом на французский (Ромэн Гафанович был галломаном) или немецкий. «Авторский язык должен быть высоко интеллигентным жаргоном»; «Набить реалиями, своими, не шаблонными, чтобы не хуже, чем в статье “Браво, Индикатор!” Избегать всякой приблизительности».

Или вот большой фрагмент, одновременно и экскурсия на внутреннюю творческую кухню, и лучший набор советов начинающим писателям: «По-настоящему как надо писать? Со свободной душой, не ставя себе задач. Единственная допустимая задача – оригинальное, яркое, незатёртое слово. Писать занимательно, увлекательно, живо, весело... Писание – труд, но весёлый. Играть надо. Уфимские новеллы, кроме первой, надо ещё переписывать. Но как переписывать, к какому целому сводить? Не хватает ещё ключевой, заглавной, там должны быть памятники Ал. Матросову и Салавату, Ватто, Альберт Галеев и влюблённый трамвай. Там должны быть зап. книжки и первоклассный язык. Язык – это всё. В первой хороший язык, и он всё делает Сам. Язык всё делает сам. Но язык – это уже интонация (ведь она определяет и фразу, и лексику). А интонация – это функция настроения, это уже авторское отношение к теме. Значит, язык работает только на твёрдом авторском отношении к теме. Определи, что думаешь об этом? И тогда всё. Ищи парадоксальных эпитетов и языковых контрастов. Сокращай. Положи новеллу под пресс и выжми всю воду. Будет шик! Тема – начало начал. Но плохо человеку без языка. Нужны языковые упражнения, переводы, раскопки редкого слова. Ну, допустим, склепал вещь. Мысль её неясна, настроение смутное. У меня это часто бывает. Так вот: после четвёртой переработки начинай думать о неожиданной новой концовке! Поэтика финала – это великая тайна искусства. Начинать всегда легче».

Как видно и из этой маргиналии, большое место в творчестве Р. Г. Назирова занимал уфимский хронотоп. Раз за разом в различных текстах герои помещаются в узнаваемые декорации центра башкирской столицы: «На улице Ленина было многолюдно, как всегда в летний субботний вечер. Я купил пачку “Беломора” и хотел свернуть на улицу Чернышевского, зайти к товарищу поздороваться, но на ступенях возле кино “Родина” меня окликнул Миша» (начало рассказа «Мой товарищ»). Об исключительном художественном интересе Назирова к Уфе говорит и найденное в архиве стихотворение «Возвращение в Уфу». В конечном счёте это тяготение к уфимской тематике оформилось в замысел цикла

прозаических миниатюр «Уфимские рассказы» (первоначальное название «Уфимские новеллы»).

Сохранилось несколько черновых набросков с планом цикла. Его композиция переделывалась несколько раз, в конце концов обретая следующий вид:

1. Как делают стихи.
2. Дорога песен и снов.
3. С птичьего полёта
4. Ванька и пряник.
5. Сорок рублей.
6. Из скандальной хроники Мадонны.
7. Торо и Диккенс.
8. Всегда моя.

Рукописи рассказа, значащегося в плане под вторым номером, найти не удалось; возможно, она была уничтожена требовательным автором. В остальном цикл печатается в соответствии с волей Р. Г. Назирова с той лишь оговоркой, что автор, вероятно, предполагал при публикации скрыть своё имя за псевдонимом (варианты: Н. Романов, Н. Корд, Р. Незнамов).

Неизвестно, насколько эти тексты были завершены. С одной стороны, в последней версии плана напротив большинства заглавий стоит помета «good», видимо свидетельствующая, что текст в нынешнем его виде автора удовлетворяет. С другой стороны, форму машинописи – финальную форму, которую обретали тексты, выходящие из-под пера Назирова (он действительно до последних лет писал перьевой ручкой), – имеет только рассказ «Сорок рублей».

Литературовед Назиров, даже превращаясь в писателя, не мог перестать рефлексировать над текстом. Он же сам оставил нам и ключ к пониманию своего цикла: «Основной сюжетный принцип – ничего не происходит. Содержание и *Srapping*[2] – почему не происходит? Или уже произошло, или уже[3]произойдёт... или –». Не ясно только, почему этот принцип оказался объединяющим для уфимской темы.

Ну и конечно, это уже не совсем «наша» Уфа. Назировская Уфа ничем не напоминает мегаполис, это крохотный тихий городок, в котором проще простого встретить знакомое лицо, а жизнь течёт неторопливо. Такой Уфу мы уже никогда не увидим. Точно установить время работы над циклом невозможно, но первый рассказ датирован 1967 годом, а то тут, то там прорываются приметные реалии времени – война во Вьетнаме, «вражеские голоса», пионерские галстуки. Так что проза Р. Г. Назирова

интересна ещё и как человеческий документ, фиксирующий навсегда ушедшую эпоху.

Трудно сказать, в течение всего ли своего блестящего литературоведческого пути профессор Назиров вёл двойную жизнь, создавая наряду с научными исследованиями прозаические опыты. Некоторые соображения (бумага, характер почерка, качество чернил) говорят за то, что проза занимала его главным образом в 50–60-х годах, а с началом 70-х он уже переключился на литературоведческие упражнения.

Почему эта проза не была опубликована тогда, 40 лет назад? Отчасти ответ на этот вопрос может дать ещё один документ из архива Р. Г. Назирова – приложенный к машинописи рассказа «Старик. Железнодорожное происшествие» (датирован 16 октября 1956 года) отзыв редактора, некоего В. Александрова, завершающийся словами «Замечания по языку и стилю отмечены на полях рукописи. К печати рассказ не пригоден».

Редактора, к примеру, не устроил оборот «он спал строго», то самое по-назировски незатёртое, парадоксальное слово. Бывшее в характере Р. Г. Назирова нежелание бороться с редакторами при полной уверенности в собственной правоте стало причиной того, что в печати вышла малая часть и его научных исследований. Остаётся надеяться, что что-то исправить ещё не поздно.

Б. В. Орехов

Как делают стихи

Растаяло в небе мятное облачко, и первая звезда зажглась над «Спиртотрестом». Маленькая очередь перед киоском считала копейки. Стоя в хвосте, человек, одетый на манер временно не работающего мусорщика, поднял голову и увидел жизнерадостный неон на крыше театра: «Хранить деньги в сберегательной кассе надёжно, выгодно и удобно». Ни к кому не обращаясь, мусорщик пробормотал:

– Храните долги в сберегательной кассе!

Никто не отозвался. Продавщица звенела стаканами, из парков слышалась музыка, и, раскачивая несуществующими бёдрами, школьницы шли на танцы. Наконец мусорщик дождался своей очереди и жадно выпил

стакан; несколько брызг упало на его изжёванную рубашку. Он вытер губы и побрёл восвояси.

Из какого-то двора слышались голоса мальчишек:

– Галим, падай, падай, ты убит!

– Идите сюда, Сашка ранен!

– Меня в сердце убили! – восторженно захлёбывался Сашка. – Нет, на меня с самолёта сбросили атомную оружие!

Но время идёт, голоса смолкают. Ноги мусорщика неуверенно выбирают дорогу – туда, где шум автомобилей сменяется лаем собак. На окраине поёт баян.

В растущей тишине внутри какого-то дома взволнованно бурлит радиоприёмник. Он задерживается на вашингтонской волне, и русский голос с заморским акцентом начинает прославлять успехи американского оружия во Вьетнаме.

Время идёт, а за ним спотыкается по шерботому тротуару толстая женщина в очках, останавливая поздних прохожих вопросом:

– Простите, вы не видели девочку в белом платье?

– Какую девочку? Девочек много.

– Среднего роста, загорелая, волосы чёрные.

– Ребёнка потеряли, гражданочка? – спрашивает мусорщик.

– Третий час ищу, нет и нет.

– Да сколько ей лет?

– Да двадцать.

Люди смеются. Некоторые не смеются. Толстая женщина идёт дальше, и голос её, дрожащий и виноватый, как хвост побитой собаки, затухает вдали:

– Простите, вы не видели...

За дощатыми заборами садов раскрывается душистый табак. Кто-то огромный задумался в мире и на миг позабыл, что время идёт. Среди всей этой сказки и прелести в тёмном переулке светят четыре окна. Они распахнуты настежь, слышно музыку, тосты и топот. Дверь дома открыта, но в ней деревянная рама с натянутой марлей от мух. Два силуэта, выскользнув из двери, застывают на фоне этого экрана: большой силуэт наклоняется, маленький тянется вверх...

Тихо в городе. Окна гаснут. Окна ложатся спать. С песнями прошли танцоры из парков. От ресторанных подъездов отчалили последние такси. На улице, осенённой липами, рабочий со спящим ребёнком на руках замедлил шаги у чужого окна, услышав мелодию скрипки.

И вот уж на улице нет ни души. И тут во мраке возникает какая-то точка. Двигается она или стоит на месте? То пропадая, то вновь появляясь, она как будто становится виднее. Какое-то таинственное явление природы, одна из загадок городской флоры или фауны. Но скорее фауны. Потому что это велосипедист.

Юнец на бешеном велосипеде держит путь по длинным асфальтам застывшего города. Он мчится с дикой скоростью, надвинув кепчонку на обострённое лицо. Куда он летит: на свидание, в дежурную аптеку, на междугородный телефон?

Всё вздор. Это просто Ночной Велосипедист – обрывок сновидения, которое сейчас снится городу.

Два часа ночи. Мусорщик возвращается домой, готовит кофе и садится с чашкой за стол. Тысячу лет поэты лгали миру. Соловей поёт не для гордой красавицы розы, а для серенькой соловьишки. Красота заключена в обыденных вещах, и тайны таятся на каждом шагу.

Непонятна и чудесна вот эта обычная ночь. Сна нет. Достают из ящика моего стола карандаш и бумагу.

30. XI. 67

С птичьего полёта

По трамвайным рельсам идёт сизый голубь, выискивая вчерашнюю крошку, и его коралловые лапки быстро постукивают по металлу. Крошек нет, потому что извечные враги голубей уже прошли по трамвайным путям. Вот и сейчас они метут улицы и переговариваются от ворот до ворот.

Голубь взлетает, с неожиданным шумом захлопав крыльями, под которыми вспыхивает нежно-белый пух. Двадцать лет назад в нашем дворе играли в волейбол, а я стоял и смотрел. Как звали ту тоненькую, в ситцевом сарафане? Помню, как её коса хлестала по загорелым плечам, а когда она выбрасывала навстречу мячу свои смуглые руки, под ними – вот как сейчас у голубя – вспыхивали белые подмышки. Сколько ей было? Пятнадцать, шестнадцать. Следя за ней, я на мгновение – не то чтобы понял – а скорее нутром почувствовал свою будущую судьбу...

А сизый голубь пишет спирали, с упорством одинокого мечтателя восходя в утренний пейзаж. Звёзды погасли около часа назад, и живопись рассвета заменила графику небесной карты. Каждое утро мы возвращаемся из «вечного молчания этих бесконечных пространств» в уют родной атмосферы.

Тишина, тишина, тишина. С птичьего полёта делаются всё ничтожнее и я, и дворники, метущие улицы, и сидящие на крышах чудовища, которые провожают голубя ревнивыми зелёными глазами. А он то ложится в дрейф, то снова срывается в свободную геометрическую фантазию. Он пьёт прохладный воздух, в этот час почти не содержащий газа и дыма. Он растворяется в голубой, как мечта, стихии и всё же остаётся самостоятельной деталью пейзажа, пятнышком, хотя бы точкой, но никогда не исчезающей.

Оттуда город смотрится как неправильная шахматница крыш и садов. Ещё две-три спирали к небу, и уже начинается рисоваться общая планировка города, разрезанного серыми полосами улиц, на которые выползают зелёноватые жучки – первые автофургоны с горячим хлебом.

Колорит пейзажа обусловлен углом падения солнечных лучей. Восходящее солнце всему придаёт золотистый оттенок, с которым спорят только прохладные массивы теней. Это острова полутьмы, тающие в приливе крепнущего света. Все краски земли сейчас союзники по солнцу, они дружно гонят остатки ночи, и в этом динамика пейзажа.

Для голубя, плавающего в вышине, меньше всего значат и дома, и автофургоны, и мы, миниатюрные человечки. Он ищет самые оживлённые скопления своих братьев, чтобы присоединиться к ним в надежде на завтрак.

Так оставим же хлопотливого летуна и вернёмся на пустые улицы, где на сонном асфальте отдаётся каждый шаг. Дворники привинчивают чёрные резиновые шланги к наружным кранам и начинают поливать цветы. Как лихой разведчик, вырвался из трамвайного парка первый вагон и помчался, набирая скорость, не обращая внимания на остановки.

Хлопнула дверь, и на улицы вышел человек тридцати пяти лет в тёмной, туго перепоясанной одежде. Он посмотрел на небо, потом на меня.

– Браток, закурить не найдётся?

Мы закурили вместе, он скупно кивнул, и тихая печаль утра развеялась без остатка.

Ванька и пряник

Утренний холодок заставил съёжиться человека, спавшего на скамейке под сенью собственного пиджака. Человек долго возился, пытаясь вновь найти удобное положение, затем резко откинул пиджак и протёр глаза. Его лицо хранило багровые отпечатки случайного сна. Он поднял голову к третьему этажу дома, перед которым сидел, и отыскал глазами окно, затянутое тюлем.

Человек был одет в теннисную рубашку, и её короткие рукава оставляли открытыми красивые бицепсы: на правом была выколота русалка с чрезмерно развитым бюстом, а на левом – глобус с парусником на Северном полюсе и надпись: «SOS».

Надев пиджак, человек закурил и вновь уставился на окно третьего этажа. В этот момент тюль заколыхался, отошёл, и белая женская рука, выступая из цветного кимоно, толкнула створки окна. Тюль вернулся на своё место. Это было всё.

Увидев мелькнувшую в окне руку, человек с сигаретой вскочил со скамейки. Но рука исчезла, и он перевёл дыхание.

Большими, тихими шагами он прошёл по пустынному асфальту спящего двора, вышел за ворота, постоял там, озирая небо и город, и снова вернулся во двор. Взглянул на часы.

Долгим взором обвёл тихий двор, ещё раз посмотрел на окно с тюлем и нехотя поплёлся вон со двора. Он был уже у самых ворот, когда где-то внутри дома хлопнула первая дверь.

Человек у ворот живо остановился, обернулся, вынул руки из карманов. Из подъезда дома сонно выплыл мужчина в летнем плаще и шляпе. Глаза его были полузакрыты, серые усишки обрамляли мокроватый рот. Он еле слышно напевал обворожительный дуэт Моцарта:

– Дай руку мне, красотка, в замок со мной пойдём...

Ранний певец двигался в сладкой полудрёме, и потому так неожиданно обожгла его шипящая фраза у самого уха:

– Мурлыкаешь – всю ночь мышей давил...

Певец испуганно дёрнулся и поднял голову. Перед ним, закусив сигарету, возвышался незнакомец в помятом пиджаке.

– Что вы сказали? – с гневливым недоумением спросил мужчина в шляпе.

– Я спрашиваю, ты доволен? – с гнетущей серьёзностью произнёс незнакомец.

– Странный вопрос! – пожатие плеч.

– Чего странного? По тебе видать: спал мало, но весело.

– А что вам, собственно, нужно? – поднимая плечи, спросил певец.

– Мне много нужно. Я бы мог тебе вот этой рукой проломить височную кость, потому что она тонкая.

– А что это решает? – живо перебил певец.

– Ничего не решает, – спокойно кивнул незнакомец, – твоё счастье, мурлыкай дальше.

Он повернулся и вышел из ворот, мужчина в шляпе за ним. Они постояли молча, глядя друг другу в глаза.

– Жениться не собираешься? – вдруг спросил первый.

– На ком, на Алечке? Что я, дурак, что ли?

– Нет, я знаю, ты, сволочь, умный! – проскрежетал незнакомец.

Внезапно он неестественно выпрямился, прямо-таки вытянулся в струну и с силой плюнул в лицо своему собеседнику. Несколько секунд он дождался какой-нибудь реакции и, не дождавшись, ушёл.

Он шёл размашистым шагом, ночь на скамейке не убавила его сил. Глаза его смотрели вокруг с яростным недоумением. Он свернул в тихий переулок, где обычно не бывало прохожих. Но сейчас в переулке слышался шум и стояла группа людей. Прислонясь к забору, парень с распущенной до земли гармошкой в правой руке унимал левой рукой кровь, которая текла из его носа. В двух шагах от него, скаля золотые зубы, хищный брюнет с рваным воротом извивался в дружеских объятиях двух пьяных мужчин. Трое женщин держались друг за друга, чтобы не упасть от смеха. Незнакомец с сигаретой приблизился в тот самый момент, когда хищный тип с рваным воротом кричал:

– Ты знаешь, кто я? Я же урка, я вор, я людей убивал!

Человек с сигаретой подошёл к буяну и отдельно произнёс:

– Ну какой же ты вор? Ты кусошник.

Буян возвёл на незнакомца трезвеющие глаза, и по лицу его покатались волны истерического бешенства и страха. Оба пьяных мужчины отпустили его и подались в стороны. Повисла та двусмысленная тишина, какая бывает перед ножами. Вдруг одна из женщин с профессиональной храбростью втиснулась между обоими, толкая незнакомца грудью.

– Ну чего, ну чего, ну чего тебе? – сыпала она. – Чего на людей кидаешься? Свои собаки дерутся, чужая не приставай. Канай отсюда, укротитель!

Незнакомец усмехнулся. Он потрепал женщину по плечу, царапнул губами её щёку и двинулся дальше.

– Я урка, – неуверенно возобновилось за его спиной, но тотчас прозвучала пощёчина: женщина втокнула буяна в дом.

Незнакомец выплюнул остаток сигареты и закурил новую. В полвосьмого утра он вышел на широкую улицу, в том месте, где длинная железная решётка отделяла от проспекта полный благоухания сад мёртвых. У ворот его стоял старик на деревянной ноге.

– Отец, на могилки посмотреть можно? – спросил человек с сигаретой.

Старик неохотно ответил:

– Кладбище закрытое.

– У, жмоты, всего вам жалко, даже к покойникам в гости не зайдёшь.

– Успеешь, нагостисся ещё! – философски отпарировал старик.

– И то правда.

Он выбросил сигарету у дверей сельхозинститута и вошёл в вестибюль. Навстречу ему шла седая женщина со связкой ключей.

– Доброе утро, тётя Маня.

– Здравствуй, здравствуй, шалопут. Ты где ночевал? Трезвый вроде?

– Трезвей тебя, – обиделся человек, – много ты меня пьяным видела?

– А ты уж в бутылку полез, родная тётка и слова не вымолви.

– Ладно, тётя Маня, я ведь прощаться пришёл – уезжаю, не взыщи.

– Да ведь у тебя ещё неделя отпуску.

– Нынче еду.

– До чего же ты малахольный! Сызмальства такой был. Знать, что-нибудь не по-твоему вышло? А стерпеть нельзя. Подай тебе тот пряник, который Ванька съел.

Он коротко и сухо рассмеялся, обнял старуху:

– Спасибо за всё, тётя Маня, бывай здорова.

– Когда приедешь?

– Сами приезжайте.

Он вышел из института. По проспекту Октября катились троллейбусы, скакали трамваи, первые студенты сходились у парадных дверей; человек остановился, глядя, как они здороваются и болтают.

Русая девушка в плиссированной юбке медленно взошла по ступеням. Лицо её было бледно, глаза печальны; в руке она держала маленький портфель. Подойдя к человеку у дверей, она внезапно споткнулась об его неподвижный и огненный взгляд.

– Вы почему так смотрите? – ошеломлённо спросила она.

– Жалею тебя, хорошая.

И, не оглядываясь, пустился в суету утреннего города. Душе его было и больно, и легко как никогда в жизни. Бледная девушка с портфелем ещё несколько секунд жила в его сознании. «Таких и надо любить, – подумал он, – а вот не любитесь!» И через мгновение он забыл о ней навсегда.

Сорок рублей

Кот занял у Ивана сорок рублей. Потом он прятался по всем углам, но был пойман и божился отдать с аванса. Может, он хотел отдать, но Ивана посылали в новый цех, там была срочная работа. Он не стал бегать за Котом, а передал через ребят, чтобы в расчёт Кот сам принёс долг.

Кот не принёс. Он стал в последнее время здорово керосинить. Конечно, алкоголь – это личное дело пьющего, но Иван деньги не печатал. Поэтому в один прекрасный день, вздремнув после ночной смены, он поел и надел старую рубашку, потому что слышал за Котом подлую привычку хвататься за рубашку. Иван сказал жене, что сбегает по делам, и отправился к Коту.

Кот сильно гордился блатными пацанами, с которыми пил, но Иван сам вырос на окраине, а действительную проходил на флоте. Он имел немало друзей, но в случае чего за них не прятался, а решал проблемы, как учил его покойный отец: «Слабых не обижай, сильным не спускай».

На улице Чернышевского, по которой шёл Иван, большого движения не было даже в полдень. Дети на тротуаре играли в «классы». Иван обошёл их и тут увидел, что навстречу ему по улице мчится на велосипеде Кот.

Для человека, который третий день бюллетенил, он гнал довольно бодро, только немного раскачивался и ехал не по прямой, а по синусоиде. Иван сошёл с тротуара и двинулся навстречу Коту, всматриваясь в его красное лицо.

В это самое время позади Кота показался порожний грузовик с явно психованным водителем, поскольку он, видя пустоту улицы, держал 70 километров в час. Этот суки сын, видя, что Кот пишет вензеля на своём велосипеде, нажал на сигнал и не перестал реветь, пока не промчался мимо.

Кота этот наступающий сзади сигнал хлестанул по ушам: он «заавралил», повернул ближе к тротуару и потерял равновесие. Упал он плохо – грянулся головой о кромку тротуара. Иван подбежал к нему первый: заднее колесо продолжало крутиться, одна нога Кота была на педали, голова лежала на краю тротуара, глаза были закрыты, и он дышал, как собака, которая хочет пить. С помощью подоспевшего прохожего Иван снял ногу Кота с педали, отодвинув велосипед, кинулся через улицу в какую-то контору и, не спрашивая разрешения, набрал 03. Как только скорая откликнулась, Иван быстро объяснил, что разбился велосипедист, может, расколол черепную коробку, в таком-то месте, и назвал свою фамилию и откуда звонит.

– Машина сейчас выедет.

На улице уже собралась толпа. Через две минуты приехал фургон с красным крестом, Иван и другие люди положили Кота внутрь фургона. Велосипед какой-то паренёк, знавший Кота, вызвался отнести к нему домой, и парню поверили за его красный галстук и очки. Фургон укатил. Дети снова играли в «классы».

Злой и раздосадованный, Иван пошёл к Рифу Абдульменеу, но оказалось, что Риф уехал к тётке сено косить. Спускаясь от него с пятого этажа, Иван услышал в одной из квартир американскую музыку, а потом из этой квартиры выскочили пижон в белой рубашке и пижонка в платье на пол-аршина от колен. Они захлопнули дверь квартиры и стали целоваться. Иван был не против любви, но его задело, что на него обращают такое же внимание, как на кошку. Он хотел сказать пару слов, но дверь снова открылась, из неё вышел пижон лет семнадцати, треснул первого по шее и сказал:

– Stop your kissing, son of bitch! Вот тебе три целковых на мотор, двадцать один на водку, а шестнадцать на сухое. Мак едет с тобой.

Из квартиры вышел ещё пижон с двумя чемоданами, и оба пижона пошли вниз по лестнице, а тот, который матерился по-американски, обнял пижонку в коротком платье и начал опять-таки с ней целоваться. Тут до Ивана дошло, что этот малый кинул на пропой сорок рублей. Проходя мимо любовников, Иван сказал очень спокойно:

– Пьёте, сволочи?

Но тот, который целовался, ответил с гонором:

– Пьём, да не на твои, понял?

Тогда Иван вернулся. Он отлепил пижонку о пижона, взял его за «ангинку» и спросил, неодобрительно потряхивая:

– А может, ты на мои пьёшь, откуда ты знаешь?

И, оставив лежащего на площадке пижона отыскивать потерянное дыхание, ушёл домой.

Весь день у Ивана было плохое настроение. Он считал неправильным, что соплякам семнадцати лет дают в руки такие крупные суммы денег, но как повлиять на такое положение и его справиться, Иван не знал.

Из скандальной хроники Мадонны

В 11 часов утра я вышел из булочной с буханкой хлеба в авоське и стал считать мелочь – хватит ли на двести грамм копчёной колбасы. Какие-то лепечущие звуки слышались возле меня. Я повернул голову и ощутил нечто вроде лёгонького землетрясения, балла эдак четыре...

За два с половиной года до этого я впервые увидел Римму. Было ей тогда семнадцать, волосы были как грива вороного коня, а к тому ещё чёрные глаза и бархатный румянец на резких скулах. На том вечере она пила здорово. На ней было платье без рукавов, и от водки лицо её стало огненным, потом покраснела шея, а потом этот румянец показался на её обнажённых руках. Она пела под гитару «Идут на Север срока огромные» и «Сегодня наш прощальный день в Нелидовском шалмане». Юра, который привёл Римму, выглядел именинником.

Однако Новый год она встречала уже с Володей. Смелая и задиристая, она имела большой успех в нашей компании. Когда Володя болел, Римма ухаживала за ним, как сиделка. Но стоило Володе выздороветь, как она его бросила ради Марата. Говорят, Володя сам виноват – сделал ей предложение. Если это правда, то он совершил тактическую ошибку.

Мне запомнился один июньский вечер позапрошлого года. Римма надела белое платье, ногти покрыла карминным лаком, обула белые босоножки, а из каждой босоножки торчало по большому пальцу с кроваво-лакированным ногтем. Мы вышли в центр вчетвером, возле почтамта постояли, выкурили по сигарете. Мимо прошла огромная старуха в сапогах, посмотрела на Римму и крикнула:

– Для вас разве города строены? Для вас тюрьмы строены!

– А ты, бабуся, надзирательница? – спросила Римма.

Мы посмеялись и пошли к парку. Между парикмахерской и табачным магазином нам попался навстречу один нетрезвый чудака, который кичился

тем, что два года тренировался у Рудольфа Гибадуллина, хотя я подозреваю, что Рудик выгнал его за непригодность. Этот чудака остановился поболтать с Риммой и Маратом, а мы с Юрой потихоньку пошли дальше, но уйти не успели.

– Всё гуляешь, крошка? – спросил чудака с ласковым презрением.

– А ты всё «грушей» работаешь? – спросила Римма.

– Ты покорооче, крошка, а то я тебе язык подвяжу.

– Подвяжи себе слюнявчик, – ответила Римма.

Тут он обругал её чёрным словом. Толпа гуляющих мгновенно остановилась, мы с Юркой тотчас вернулись, и в тишине прозвучал голос Риммы:

– А ты забыл, цыплёнок пареный, как ноги мне целовал?

Раздался хохот, цыплёнок дёрнулся, но мы перехватили его, а потом Марат оттащил его в сторону и дал такого пинка, что хватило бы на запуск космической ракеты.

В том году Римма и Марат ездили в Сочи, но на обратном пути поссорились. Осенью она поступила в нефтяной институт, а к весне бросила его. Или он её – кто их разберёт с этим институтом. В мае прошлого года мы с Юркой проходили поздним вечером по мосту через Белую. Посреди моста стояли двое и целовались как сумасшедшие. Проходя мимо них, я пронзительно мякнул. Оказалось, что это Марат и Римма. Они обругали меня и продолжили своё занятие.

Через месяц я встретил Римму в Ключерёво, и с ней был один из наших молодых поэтов, тогда ещё холостой и дьявольски предприимчивый. Я решил, что эпизод с Маратом ушёл в прошлое.

Однажды в августе мы с Юркой встретились на углу и договаривались о билетах в театр, когда увидели Римму и Марата. Она снисходительно поздоровалась с нами. Мы стали звать их в театр, Марат колебался, Римма смотрела с загадочной улыбкой. Потом глаза её начали сонно закрываться, и она приняла позу пизанской падающей башни. Я восхищённо сказал:

– Смотрите, как она здорово симулирует обморок!

После чего Римма окончательно закрыла глаза и упала в обморок. Проклиная своё остроумие, я добежал до Кировского отделения милиции, взлетел на второй этаж и попросил стакан воды. Дежурный казался недовольным, но я налил воды из графина, выполнил аттракцион «бег со стаканом» и втиснулся в толпу на углу. Римма лежала навзничь, платье взбилось, и я всё же зафиксировал, какие у неё великолепные ноги. Мы брызнули ей водой в лицо, дали отпить из стакана, поставили на ноги и поймали такси. Марат увёз её, а я пошёл опять в милицию. Кажется,

дежурный думал, что стакан понадобился для распития бутылки в подворотне, и возвращение стакана успокоило его.

Спустя одиннадцать месяцев я вышел из булочной и услышал странные лепечущие звуки. В двух шагах от меня стояла Римма и держала в руках голубой свёрток, поднося его близко к лицу и что-то пресерьёзно объясняя. Загар не коснулся её кожи, ногти были не крашены, бледное лицо было хмельным от восторга. В вырезе её платья молочно белела тяжёлая грудь. Я обогнул Римму, как памятник. В растворе голубого конверта смеялось беззубое личико – миниатюрная копия Марата.

– Здравствуй, Римма, – сказал я, – ты думаешь, он тебя понимает?

– Он всё понимает, – ответила Римма, – он только говорить не умеет.

Я ушёл с улыбкой идиота и даже забыл купить колбасы. В голове моей бродили странные мысли о том, что мать – это всегда святая дева, что материнство – это высшая инстанция, которая кассирует любой приговор Толпы. Кто с ней когда-то спал, это уже неважно. Покорнейше прошу моралистов заткнуться.

Торо и Диккенс

Эссе в свободном стиле

Над верхушками леса восходит солнце, словно потягивается только что проснувшийся лев. В воздухе разлита такая девичья свежесть, что невольно хочется стать милым ребёнком. Я слышу пенье петухов и паровозов, голова полна ясных, утренних мыслей. Я смеюсь над неонами городов и над женщинами, от которых пахнет дорогими духами.

«Встань на заре, свободный от забот, и иди искать приключения... Пусть жизнь твоя станет спортом, а не ремеслом. Наслаждайся землёй, но не владей ею», – так пишет в своём «Уолдене» Генри Торо, американский мыслитель прошлого века.

Это был человек, каждую свою идею претворявший в дело. Как всем известно, деньги зло. Но одно дело – знать эту прописную истину, а другое дело – жить ею. Торо поселился среди лесов на берегу озера Уолден и два года жил только своим трудом, не затрачивая ни гроша денег. Соединённые Штаты начали войну против Мексики, чтобы отнять у неё Калифорнию и Техас. Торо не захотел быть причастен к этой грязной войне. Правда, он не выступил волонтером в мексиканскую армию, но зато отказался платить налоги своему правительству и угодил в тюрьму. Эмерсон, увидя своего друга за решёткой, спросил: «Генри, как вы туда попали?» Торо ответил вопросом: «Как вы остались на свободе, Ральф?» Я цитирую неточно, но

ручаюсь за смысл. Льва Толстого никогда не сажали в тюрьму. Впрочем, это была не его вина: вовремя не догадались, а потом уже не могли.

Маленькая история об упрянце, который отказался уплатить свою долю шайке разбойников, имела большое продолжение. Именно Торо изобрёл the civil disobedience – то самое «гражданское неповиновение», с помощью которого Махатма Ганди освободил Индию. Когда один интеллектуалист слишком задирает нос, его сажают в тюрьму, – нет ничего проще. Но попробуйте затолкать в каталажку 450 миллионов людей. С ума сойти, таких тюрем нет!

Но я вспомнил Торо по другому поводу. Он славил «Жизнь в лесах». Правда, он не чуждался политических актуальностей, помогал беглым рабам и выступал в защиту другого великого идеалиста, Джона Брауна. Но всё же уолденский эксперимент имел совершенно определённый смысл: бросим душные клетки городов, уничтожим деньги, вернёмся к здоровой жизни пионеров! К тому же политическому культу природы сводится его книга стихов «Excursions».

Да, здесь, в лесах, действительно ближе к звёздам. Деньги нужны, но немного. Газеты с огромным опозданием привозит рассеянный почтальон на кривом велосипеде. Скоро должна отелиться соседская бурёнка, и все ждут этого события, словно рождения принцессы. Между мной и природой нет промежуточных инстанций.

Только однажды утром я выхожу к полотну железной дороги. Белая ручка с красными ногтями сыплет из окна поезда яичную скорлупу. Бешено вращаются колёса. Вот поезд исчез. Тишина. В душу закрадывается предательская слабость. Зачем быть великим и мудрым среди лесов, если упрямое человечество, себе на горе, предпочитает города? Юлий Цезарь говорил: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». Но в конце концов лысый развратник предпочёл стать первым в городе. И даже Владимир Солоухин – всего лишь гость в родном селе. Итак, решено! Простите, леса!

Я возвращаюсь. Вот он – город, треклятое обиталище современного человечества, муравейник из камня и бетона и тому подобное (см. Валерия Брюсова). Ну как здесь можно жить после благоуханных лесных досугов и размышлений в духе Торо? Что мне нужно в городе?

Быть может, это легче понять с помощью Чарльза Диккенса, певца промозглого Лондона, изобразителя детских приютов и воровских малин. В письме из Лозанны он жаловался Джону Форстеру, что он может писать: «Это стало для меня почти невозможным. Я полагаю, что главная причина этого отсутствие улиц и прохожих вокруг меня. Не могу вам сказать, до

какой степени для меня необходимы улица и толпа. Мне кажется, что они дают моему мозгу питание, недостатка которого я перенести не в силах. Я могу в течение недели или двух писать в каком-нибудь уединённом месте. Потом один день, проведённый в Лондоне, восстанавливает мои силы. Но писать день за днём без этого волшебного фонаря мучительно и утомительно».

В другом письме Диккенс объясняет это иначе: «Отсутствие улицы продолжает странным образом меня мучить. Это мозговое явление. Если бы вокруг меня были улицы, я бы не гулял по ним днём. Но мне недостаёт их ночью. Я не могу отделаться от своих призраков, если не потеряю их в толпе».

Кажется, я понимаю, почему Диккенсу так нужна была толпа. Гуманнейшая профессия писателя изолирует его, ибо нужно прятаться, чтобы писать. Над художником тяготеет проклятие: все силы вкладывать в творчество, экономя их на обычной житейской суете. Он пишет для людей, но их присутствие не позволяет писать. Романисту недостаёт человеческих контактов по самому индивидуальному характеру его труда, ему грозит опасность отвыкнуть от людей, и это – смерть искусству.

Поэтому романист бессознательно стремится видеть и слышать всё, не ввязываясь, однако, в будничные дразги. Анонимная толпа нужнее ему, чем общество рафинированных интеллигентов. Диккенс в лондонской толпе обновлял чувство, что писание романов имеет смысл. Не потому ли он так любил и публичные чтения? Впрочем, говорят, он нуждался в деньгах... Всё равно я уверен, что вдали от толпы он терял веру в искусство.

Улица моего города, с прохожими, фонарями, трамваями. Этот низкокачественный воздух, насыщенный парами бензина и ароматами дешёвой кухни, кажется мне слаще, чем ветер полей и лесов. В толчее нечаянных локтей и небрежных извинений я словно растворяюсь и становлюсь самодовлеющей ценностью без учёта моих подлинных или мнимых заслуг перед обществом. Просто человек, и никому нет дела, хорош я или плох, умён или дурак, рубаха-парень или последняя сволочь, и если я, размечтавшись, выйду на дорогу и не замечу вплотную наехавшего автобуса, то любой прохожий предостерегающе окликнет меня или схватит за руку, как будто мы с ним сыновья одной матери.

– Да, зато в лесу свободно-то как!

– Правда, в лесу свободно. Только на что мне она, твоя свобода, среди дубов и вязов? Я с людьми хочу жить, а не с дубами. Когда я иду по улице, я не лучше никого и не хуже никого. Не Торо, а человек толпы.

– Да просто глупый ты человек.

– Верно! Правильно твои губы шлёпают! Я глупый человек, но всё же я человек, а ты – премудрая козявка.

Всегда моя

Длинная «Колхида» с рёвом въезжает в мой сон, и я просыпаюсь у окна, открытого на улицу Пушкина. Я встаю, умываюсь, бреюсь. Выходя, обнаруживаю в ящике для почты плотный конверт, видимо пришедший ещё вчера. Адрес написан знакомым почерком...

– Кто последний?

– А шут его разберёт – разве это очередь?

Вот что у нас никак не привьётся: очередь на автобусной остановке. Подходит мой номер, и весь народ разом втискивается в открытую дверь. Под хриплый вой мотора автобус беседует о распределении квартир и ценах на мясо. Прямо передо мной изнемогает молодая, но пышная девушка, она не может пошевелиться, и блестящий пот выступает на её гладкой шее. Меня так и подмывает вынуть платок и вытереть ей шею. Не стоит, не поймёт...

Лишь в институте, когда сорвавшиеся с цепи телефоны заняли наших женщин, я потихоньку вскрываю конверт. Фотография! Но я не вынимаю её, я читаю письмо.

«Милый! Позволь мне ещё раз назвать тебя так. Я не знаю, милый, как тебе писать. Если бы ты мог почувствовать всю мою нежность, теплоту и всё обожание моё. Ты первый и единственный настоящий мой близкий и родной человек. Ой, как мне тебя не хватает, о многом бы хотелось поговорить...»

Шеф стоит рядом и деликатно закуривает: прячу письмо. Он спрашивает о планах. Планы должны быть готовы, но я-то знаю, что Лялька вчера отпросилась за два часа до конца работы и сейчас выжимает из машинки все её резервные мощности.

– Видите ли, Евгений Павлович!..

В первый раз у нас с Еленой получилось по-сумасшедшему. Я сразу заметил, что глаза у неё смущённые и вызывающие одновременно, и зубы так влажно блестели в полуулыбке. Едва оставшись наедине, мы молча повернулись друг к другу. Кто испытал такое – поймёт. Тело у неё было, как у лебедя. Она уже тогда развелась с первым мужем.

– Поэтому, Евгений Павлович, мне пришлось заново проверить эту графу.

Сам не знаю, что я ему наплёл, но он кивнул довольно спокойно:

– Всё же поторопите Лялю.

В машбюро Лялька лупила свою «Олимпию» в хвост и в гриву. Я сделал ей знак: нажимай! Она мотнула чёлкой и скорчила гримасу: «Пошёл к

свиньям, сама понимаю». Я вернулся в отдел. Время было спокойное, институт переводил дух после обмытия квартальных премий. Я читал урывками: «Ты представить себе не можешь, что ты для меня значил. Я тебе благодарна бог знает как. Милый! Вспоминаю тебя. Всё-всё. Родной ты мой! И почему наше бытие парадоксально?»

Это цитата из меня. Так можно докатиться до памятников при жизни! Правду сказать, я больше всего любил её не в те раскалённые часы, а после, – мы лежали в руке рука, и я всегда засыпал на час позже, чем она, и кончики её пальцев подёргивались во сне, и это страшно умиляло меня, она и во сне ещё переживала «всё-всё».

В обеденный перерыв я скрылся от своих в дальнем кафе и вынул фотографию. Елена снялась на пляже, с волосами на отлёте, дул ветер, но она прекрасно плавает и сейчас пойдёт в воду. Её улыбка! Юмор в том, что фотографировал, естественно, Серёжа. Не помню, что я ел. За соседним столом девушка говорила толстому мужчине:

– Вы опять взяли котлету? Это вредно. Врачи рекомендуют разнообразие.

Мужчина, отодвигая тарелку с раскисшей котлетой, мрачно ответил:

– Завтра для разнообразия возьму жареного директора.

От неожиданности я засмеялся. Толстяк обернул ко мне своё лицо цвета голландского сыра, и мы обменялись тёплыми взглядами. Тут по лицу девушки я понял, что она видела фото Елены. Допивая свой кофе, она поверх чашки требовательно посмотрела на меня. Брови у неё были, как у Елены. В кафе жужжал вентилятор, люди громко разговаривали. Девушка тянула время. Она открыла сумочку, долго смотрелась в зеркальце, провела мизинцем по бровям, снова спрятала зеркальце, резко щёлкнула замком сумочки и стала строго глядеть в окно, демонстрируя свой медальный профиль. Толстяк грустно ждал. Наконец она встала и, проходя мимо, недовольно задела бедром моё плечо. Бедро было круглое.

Я вышел через пять минут. Елена, как же рухнул наш воздушный замок? Она объясняет это просто: «В том, что произошло, ты сам без вины виноват. Ты показал мне новую жизнь, как весёлую песню, ты слишком приучил меня к радости, и мне показалось, что твоя оригинальная мораль открывает мне дверь в царство свободы: иди куда хочешь и делай что хочешь. Может быть, причиной был мой детский эгоизм, но я совершенно не думала, что свобода обоюдна. Ты уехал в командировку и не писал ни строчки. Сначала я места себе не находила, а потом...»

В институт я вернулся вовремя. Планы лежали на столе у шефа, Лялька принесла мне в подарок билет на футбол и сказала, что я человек. Я не раз её выручал: девчонка разболтанная, но добрая, как сеттер.

«...а потом появился Серёжа. Ты немного знаешь его: это помесь ангела с профессором Паганелем. Я никогда ещё в жизни не имела рабов – он как раз был рабом. Не буду всего рассказывать, это будет звучать самодовольно. Скажу тебе только, что в один особенно тоскливый вечер мне захотелось наградить его любовь. Я узнала, в каких обстоятельствах плачут порой мужчины».

В этом месте меня всякий раз охватывало искушение разорвать письмо, но я мысленно обращал это в шутку и смеялся над собой. Внезапно громовая весть поразила отдел: график отпусков пересматривается. Комната превратилась в растревоженный улей, шеф давал объяснения и принимал претензии, и под шумок одна трудолюбивая пчела выползла из улья, заглянула в другие ульи и в полпятого покинула пасеку, то бишь институт. Дома я поел, переоделся и пошёл на стадион.

Игра была довольно занимательная, наши забили приезжим два гола. Постепенно я отключился от узоров, которые вышивали по зелёному полю глубокомысленные форварды, и мысленно вернулся к письму: «В день твоего приезда я сделала причёску, оделась, а потом сидела в пальто перед твоей телеграммой. Милый, я не посмела поехать на вокзал».

Каким, должно быть, дураком я выглядел, когда в жалком недоумении обшаривал вокзал, ища Елену! Вдруг рёв трибун включил моё внимание: капитан гостей бил пенальти. Он ударил хорошо, и траурное завывание трибун зафиксировало, что счёт размочен. Через неделю после возвращения я встретил Елену в доме Владика. Простить? Так ведь надо знать, какую вину прощаешь. А мы не смогли поговорить, я пошёл провожать Шурочку. На другой день подруга Елены сказала мне: «Оказывается, ты жестокий». Какие слова! Просто я правду люблю. Говорят, это и есть жестокость: не думаю, здесь какая-то путаница. Наша команда забила третий гол, тайм кончился, мне хотелось пить, и я ушёл со стадиона.

В парке я сел на веранде у самых перил и взял пива. Вдруг кто-то положил мне руку на плечо: это был Юрка! Оказалось, он приезжал в отпуск. Юрка сел со мной. Он мало изменился, только глаза стали темнее и глубже. Юрка посматривал на часы.

– Что, свидание? – спросил я.

– Нет, вроде ещё рано.

Неподалёку сидели студенты: девчонки славные, один из парней тоже, но второй был весь красный и курил сигарету, держа её двумя пальцами возле губ и лесенкой отставив остальные; временами он что-то шептал своей соседке и оклеивал её плечи маслянистым взглядом.

– Ты глянь, как он смотрит, – с усмешкой сказал Юрка, – он вроде разбирает, с чем её слопать, со сметаной или с томатом.

– Да, пошлый видок у малого, – согласился я. – Дудит ей про вечную любовь. Знакомые сюжеты!

И от этого высокомерного приговора сердце моё кольнуло воспоминание: день, когда Елена внезапно пришла ко мне. Я старался держаться мужественно, разговаривал о погоде, угостил её чёрным кофе, пошёл проводить и равнодушно спросил на прощанье:

– С кем встречаешься?

– Ни с кем! – она вспыхнула.

– А с кем встречалась?

– С Серёжей.

Я сказал убеждённо:

– Отличный парень.

Елена посмотрела мне в лицо, её губы побелели:

– Больше ты ничего не скажешь?

– Скажу, – ответил я обещающим тоном.

– Что же?

– Спокойной ночи! – ласково ответил я.

Елена повернулась и ушла. Больше я её никогда не видел. Я узнал от Владика, что Серёжа увёз её с собой в Ленинград.

– Свободно? – раздался вежливый голос.

За наш стол сел мужчина в кремовом костюме, заказал себе ужин и предложил нам выпить с ним.

– Спасибо, мы не пьём, – ответил Юрка.

– Напрасно, напрасно. В определённых дозах водочка вещь полезная.

– В определённых дозах, – заметил я, – лучше всего цианисто-водородная кислота.

Мужчина с готовностью согласился. Он выпил и пустился в откровенности. За салатом он поведал, что приехал к нам в город по делам, после его третьей рюмки мы знали, что живём только раз, за пивом он достал бумажник, а из бумажника – фотографии своей жёнушки и дочурки. Наконец он поставил бокал и наклонился через стол, моргая белыми ресницами.

– Друзья! – сказал он. – Вы мне сразу понравились. Не откажитесь помочь приезжему человеку.

– А в чём дело? – спросил я, проникаясь предчувствием сюрприза.

– Вы здешние, всех тут знаете. Помогите найти девочку на вечер.

Я засмеялся, а лицо Юрки засветилось ледяным удовлетворением, и он сказал:

- Поищите для услуг кого-нибудь ещё.
- А вы что – чистюли? – спросил командировочный, наливаясь кровью.
- Мы паиньки, – ответил Юрка, задумчиво сгибая вилку в спираль.
- Мой друг, – заявил я, – первый домушник от Кишинёва до Берингова пролива, у него девять судимостей и столько же побегов из эм-зе.
- А он, – сказал Юрка, кивая на меня, – крупнейший карточный шулер в Российской Федерации. Видите, какая интеллигентная личность у него?

Командировочный смотрел то на меня, то на Юрку. Уши его начинали угрожающе краснеть. «Сейчас задымятся», – подумал я.

– Шутите, мальчишки? Некрасиво шутите.

Юрка интимно наклонился к нему и сказал с придыханиями:

– Мы паиньки, мы только убийцы, и мы брезгуем разговаривать с такими скотами. Рассчитайся с официанткой и вались отсюда, понял?

Командировочный понял. Он встал, сам отыскал официантку, расплатился и исчез. Юрка отхлебнул пива, и минутная вспышка его угасла.

– Подлая рожа! – сказал он. – Всюду грязь, всюду мелкий обман. И вот эти самые типы толкают речи и объясняют мне, как надо жить.

– Всюду грязь, – механически повторил я.

И тут перед глазами всплыли строки: «А сделано это фото на Рижском взморье. Я зажмурилась, входя в воду, и когда волна набежала и подняла меня, то мне показалось, что это ты. Я хочу выразить тебе свою радость оттого, что я тебя знаю, и благодарность за то, что ты именно такой. Желая тебе всего самого доброго, хорошего, светлого. Целую тебя (хоть это и смело, но по случаю последнего объяснения простительно). Всегда твоя Елена». Долго же она решалась на это объяснение!

– Нет, не одна грязь, – сказал я.

Но Юрка не ответил. Он смотрел на часы, и лицо его мрачнело. Я спросил напрямик, что у него стряслось. Он закурил сигарету и сказал:

– Хотел я увидеть одного человека. Три раза проходил мимо дома – не встретил. Думал, в парке найду. С этой веранды всех видно.

– Она уже не придёт?

– После одиннадцати она не приходит.

– Зашёл бы к ней домой.

– Понимаешь, я с ней больше говорить не хочу. Просто думал издали посмотреть. В час Москвы мой поезд. Значит, всё.

Оркестр на танцплощадке играл танго наших школьных вечеров. Не знаю почему, но я вдруг показал Юрке фото Елены и вкратце рассказал эту историю, начало которой он знал. Мы смотрели в полумрак аллеи и за

полчаса не сказали ни слова. На прощанье крепко пожали руки друг другу, и я пошёл бродить по городу.

На одном тихом перекрёстке стоял грузовик, и свет фонаря падал на согнутую спину шофёра. Он окликнул меня:

– Эй, друг! Будь добр, нажми на акселератор.

Я забрался в кабину, он рванул ручку, я нажал акселератор, и мотор заработал. Уезжая, шофёр крикнул:

– Спасибо, друг!

Я смотрел ему вслед, как солдат-первогодок, которому по ошибке вместо значка отличника вlepили орден. Потом я медленно направился к центру и вышел прямо на те ворота, у которых когда-то в шесть утра целовал Елену с припухшими глазами и она шепнула: «У меня такое чувство, словно выросли крылья. Я бы тебя без конца целовала!..» Ну что ж, будь счастлива, всегда моя Елена, а мне пора забыть тебя, потому что из-за тебя сегодня я даром потерял день.

И в час бессонницы, лёжа у окна, открытого на улицу Пушкина, я решаю древнейшую задачу по электротехнике: где перегорел первый контакт? И кто был виноват в аварии – Адам или Ева?

[1] Гинзбург Л. Человек за письменным столом. – Л.: Советский писатель, 1989. С. 34–35.

[2] Spannung (нем.) – напряжение, напряжённое внимание.

[3] Так в рукописи.